

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
1. ПОДВИГЪ. Романъ А. Федорова	1
2. ИНЕЙ. 1) Морозъ Морозовичъ.—2) Вѣнчанне.— 3) Дочери ночи. Стихотворенія. К. Бальмонта	38—40
3. НЕКРАСОВЪ и БѢЛИНСКІЙ. (По поводу тридцатилѣтія смерти Некрасова). С. Ашевскаго	41
4. ЖИЗНЬ. Стихотвореніе А. Луговаго	65
5. СТРАННИКИ. Повѣсть В. Сѣрошевскаго	66
6. ВОДОРОСЛЬ. Стихотвореніе Аллего	97
7. НЕУДАВШИЙСЯ КОМПРОМИССЪ. (Эмиль Олливе о себѣ самомъ). Е. Тарле	98
8. ДУБРАВА. (Изъ Л. Пфау). Стихотвореніе В. Лихачева	131
9. МАМОНТЪ. Разсказъ В. Ирецкаго	132
10. ВЪ ИЗГНАНІИ. (Изъ пѣсенъ повстанцевъ І. Крашевскаго) А. Лукьянова	148
11. КРИТИКА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СИНДИКАЛИЗМА. Статья П-я. Энрико Леона и Иваное Бономи. Г. Плеханова	149
12. GLORIA VICTIS!. (1863). Новелла Элизы Ожешко. (Переводъ съ польскаго И. Смидовичъ)	182
13. О „НАВЪИХЪ“ ЧАРАХЪ И „НАВЪИХЪ“ ТРОПАХЪ. (Художество—жизнь). М. Невѣдомскаго	205
19. ГОЛОСЪ КРОВИ. (Zwischen den Rassen). Романъ Генриха Мана . Переводъ съ нѣмецкаго М. Славинской и Р. Ландау	234
20. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ КАПИТАЛА. (По поводу № 1 газеты „Промышленность и Торговля“). Ю. Стеклова	1
21. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКЛИКИ. Симптомы современныхъ переживаній и настроеній. В. Кранихфельда	25
22. ЗА РУБЕЖОМЪ. Е. Смирнова	43
23. НА РОДИНѢ. Интеллигенція и культурная работа. І. Ларскаго	67

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1908 г. НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ
ЖУРНАЛЪ

СОВРЕМЕННЫЙ МІРЪ

Журналъ ставитъ своей задачей распространеніе среди читателей идей послѣдовательнаго политическаго и соціальнаго демократизма и освобожденія личности. Наряду съ вопросами политической и общественной жизни, журналъ удѣляетъ серьезное вниманіе вопросамъ естествознанія, литературы, исторіи и искусства.

Журналъ издается при ближайшемъ участіи:

Ө. Батюшкова, Ник. Гюрданскаго, Вл. Кранихфельда, М. Куприной, А. Куприна, Евг. Дячкаго, М. Невѣдомскаго и Е. Тарле.

Въ 1908 г. будутъ напечатаны, въ числѣ другихъ, слѣдующія произведенія:

І. Въ отдѣлѣ беллетристики: „Казнь“ разсказъ **Леонида Андреева**; „Три брата“ разсказъ **М. Арцыбашева**; „Изъ книги „Храмъ Солнца“, разсказъ **И. Бунина**; „Этапъ“ разсказъ **В. Вересаева**; „Вѣшалка № 584“, разсказъ **А. Вережникова**; „Мамонтъ“, разсказъ **В. Ирецкаго**; „Безъ родины“ (изъ финляндскихъ мотивовъ), **О. Ковальской**; „Яма“, повѣсть **А. Куприна**; его же: „Половодье“, разсказъ; его же: „Вечерокъ“, разсказъ; „Разсказъ заключеннаго“, **Вл. Ладыженскаго**; „Разломъ“, разсказъ **Н. Олигера**; „Логика“, повѣсть **Н. Осиповича**; повѣсть **И. Поталенко**; разсказъ **А. Серафимовича**, „Небо“.

Литературные отклики.

Симптомы современных переживаний и настроений.

„Когда начинаются разсужденія о литературѣ и поэтическомъ творчествѣ, мною овладѣваетъ мучительная скука и безпомощная тоска... Критика, какъ критика, есть нонсенсъ“.

Такъ сказалъ К. Д. Бальмонтъ, усаживаясь писать для „Золотого Руна“ (№ 11—12 пр. года) критическую статью, посвященную оцѣнкѣ современной русской литературы.

Категорическій тонъ этихъ первыхъ вступительныхъ строкъ проходитъ черезъ всю критическую статью Бальмонта: онъ отнесся къ нашей художественной литературѣ съ суровымъ и рѣшительнымъ осужденіемъ. И такъ какъ въ былыя и даже не столь еще давнія времена Бальмонтъ былъ однимъ изъ самыхъ восторженныхъ поклонниковъ тѣхъ, кого онъ теперь безповоротно отвергаетъ, то, думаю, читатель не безъ интереса познакомится съ новыми взглядами нашего критика на явленія современной русской словесности.

О прозаикахъ Бальмонтъ говоритъ съ видимой неохотой. По его мнѣнію, они, „за двумя—тремя исключеніями, непристойны по своей повторности, по изношенности приемовъ, по вульгарности своего языка... Оперный пѣвецъ русской прозы, Леонидъ Андреевъ сталъ вчерашнимъ днемъ, и потому его творчество какъ разъ подстать для большой международной публики. Для нея же пишетъ свои компилятивные романы Мережковский. Зинаида Гиппиусъ безшумно увяла. Любопытны Зайцевъ и Ремизовъ, но не приковываютъ вниманія. Въ томъ или иномъ смыслѣ можно назвать еще нѣсколько именъ. Но здѣсь нѣтъ живого дуновенія“...

О современныхъ русскихъ поэтахъ Бальмонтъ также не высокаго мнѣнія. Однако онъ все-таки чего то ждетъ отъ нихъ. Отъ кого же? Отъ Брюсова? Но Брюсовъ „такъ весь проникся многоразличными вліяніями французской литературы, что, когда начинаешь выяснять, что есть собственно Валерій Брюсовъ“, то... „въ смыслѣ элементовъ мало что найдешь доподлинно Брюсовскаго“. Вячеславъ Ивановъ—„книжникъ“, и въ

огромномъ большинствѣ своихъ произведеній онъ—„не болѣе какъ словесникъ—дистилляторъ“. Нѣсколько снисходительнѣе отнесся авторъ къ Сологубу, но и этотъ „по свойству своего обличія часто говорить не долженъ, а то впечатлѣніе получается не искомос“. Блокъ неясенъ. Городецкій—„выпущенный изъ клѣтки щегленокъ“, и о немъ пока много говорить нечего. Кузминъ—имитаторъ. Даже Андрей Бѣлый, къ поэтическому дарованію котораго Бальмонтъ еще такъ недавно относился почти съ обожаніемъ, теперь для него только „разудалый журналистъ“ и „незначительный стихотворецъ“.

Критическая статья Бальмонта далеко не охватываетъ нашей художественной литературы послѣдняго времени, въ ея наиболѣе замѣтныхъ проявленіяхъ. Многое она тенденціозно замалчиваетъ, а въ сказанномъ довольно явственно чувствуются мѣстами какія то затаенныя личныя обиды, какіе то личные счеты поэта. Но общее настроеніе критика найдетъ созвучные отклики въ каждомъ, кто интересуется нашей литературой, кто слѣдитъ за ея переменчивыми судьбами. Общій итогъ статьи подведенъ чуткой и вдумчивой мыслью, и съ нимъ нельзя не согласиться. Въ области русскаго художественнаго творчества Бальмонтъ отмѣчаетъ именно наступленіе „мутной осени“,—„нѣтъ, или мало, крупныхъ талантовъ; чрезвычайно много маленькихъ талантовъ и дарованій, которыя, обрадовавшись готовымъ формуламъ, безъ конца занимаютъ словеснымъ споромъ“.

Да, при чрезвычайномъ изобиліи талантовъ по части художественной техники, замѣтно чувствуется оскудѣніе творческой энергіи. И это—особенность послѣ-революціоннаго періода нашей жизни.

Оглянитесь немного назадъ, и вы вспомните блестящую художественную производительность М. Горькаго. Вы вспомните яркую фигуру купца Маякина и всѣхъ этихъ „бывшихъ людей“, обрѣвшихъ для себя такой эффектный эпилогъ—синтезъ въ драмѣ „На днѣ“. Дальше вы вспомните тѣ нѣсколько большихъ и яркихъ полетовъ, въ которыхъ такъ правдиво отразились предъ-революціонныя переживанія нашей жизни,—„Поединокъ“ Куприна, „Еврей“ Юшкевича, „Страна отцовъ“ Гусева—Оренбургскаго, „Василій Өнвейскій“ и „Красный смѣхъ“ Леонида Андреева.

Но вотъ на облачномъ небѣ нашихъ пасмурныхъ дней заалѣбла заря революціи. Наступили дни, которые, казалось, въ одномъ властномъ и единодушномъ порывѣ объединили всю страну. Но не стойкимъ и не продолжительнымъ оказался этотъ энтузіазмъ. И наша художественная литература, обыкновенно очень чуткая ко всѣмъ общественнымъ переживаніямъ родины, на этотъ неожиданный приливъ революціонной волны успѣла откликнуться только лирикой.

Поэты, посѣщая другъ передъ другомъ, настраивали свои лиры въ честь и славу революціи. И скоро въ огромной плеядѣ пѣвцовъ возмущенной стихіи оказались чуть ли не всѣ представители русской поэзіи. Пере-

городки, вчера еще наглухо отгораживавшія декадентовъ и модернистовъ отъ поэтовъ старой школы, рухнули, и въ дружномъ хорѣ, воспѣвавшемъ гимнъ революціи, слились голоса Якубовича и Брюсова, Тана и Бальмонта, Галиной и Минскаго, Лукьянова и Рукавишниковъ... Въ этомъ большомъ и разноликомъ хорѣ можно было увидѣть и новыхъ, мало чѣмъ до того проявившихъ себя поэтовъ, изъ которыхъ одинъ (Амарн), обративъ на себя общее вниманіе восторженнымъ гимномъ революціи, такъ и замолкъ съ отливомъ стихій, оставшись невѣдомымъ пѣвцомъ медоваго мѣсяца русскаго революціоннаго движенія.

Что же касается нашихъ беллетристовъ, то они просто не успѣли отразить въ своихъ картинахъ короткій моментъ революціоннаго подъема страны. Неожиданное зрѣлище пробужденнаго народа застало ихъ врасплохъ, а всматриваться въ эти какъ будто новыя лица было некогда да и нельзя, — ибо никто не могъ въ бурные дни первой революціонной вспышки оставаться зрителемъ. Можно было уйти въ ряды одной изъ борющихся партій, какъ сдѣлалъ это М. Горькій. Можно было превратиться въ лирическаго поэта, что случилось, напримѣръ, съ Гусевымъ-Оренбургскимъ, справившимъ чудную тризну въ первую годовщину 9-го января. Можно было сдѣлаться страстнымъ обличителемъ-корреспондентомъ, какъ это и стало съ Купринымъ, призваннымъ теперь къ отвѣтственности за севастопольскую корреспонденцію. Все можно было. Только нельзя было найти въ себѣ достаточнаго спокойствія для художественнаго созерцанія выбившейся изъ своихъ устоевъ жизни.

Выходъ, найденный Купринымъ, пришелся по-сердцу нашимъ беллетристамъ. И когда изъ-за единодушія политическихъ лозунговъ обрисовались разнообразныя, часто враждебныя другъ другу социальныя интересы; когда контръ-революціонныя силы въ этомъ разнообразіи и враждѣ сознали прочную опору для своего рѣшительнаго выступленія, — тогда многіе, можетъ быть, даже большинство беллетристовъ, превратились въ корреспондентовъ. Но они не называли точно время и мѣсто дѣйствія изображаемыхъ ими событій; настоящія имена они замѣняли вымышленными. Пытаясь дать „художественное обобщеніе“ какому-нибудь поразившему ихъ кровавому событію, они умышленно стирали съ него самыя яркія краски и превращали его въ блѣдную и фальшивую копію дѣйствительности. И въ то же время сама попытка обобщить необобщаемыя патологическія факты одичанія и озвѣренія производила отталкивающее впечатлѣніе лжи и грубой клеветы на человѣка.

Объединеніе лирики на почвѣ гражданскаго паоса и превращеніе беллетристики въ политическую корреспонденцію — таковы наиболѣе характерныя моменты въ переживаніяхъ нашей художественной литературы въ революціонный періодъ.

Но... „догорѣли огни“, допѣты торжественныя гимны лириковъ, допи-

саны послѣдніе рассказы — корреспонденціи... Печать усталости и творческаго безсилія лежитъ на новой поэзіи и новой прозѣ. И тщетно отвращаютъ художники лицо свое отъ смутившей ихъ современности, тщетно замаскировываютъ они свое смущеніе нервной погоней за экзотическими сюжетами и формами, — жестокая правда не укроется отъ читателя. Не укроется отъ него и то, что такъ называемыя „исканія“, которыми особенно гордятся отдѣльныя литературныя группы, въ значительной мѣрѣ являютъ собою поиски вчерашняго дня.

„Вчерашній день“ — это выраженіе, какъ помнитъ читатель, принадлежитъ Бальмонту. Вчерашнимъ днемъ онъ назвалъ Леонида Андреева, и въ этомъ — самая крупная погрѣшность критической статьи Бальмонта. Потому что Андреевъ — какъ разъ именно нынѣшній день русской литературы и русской дѣйствительности. И въ этомъ его привлекательность и исключительный интересъ къ нему. Мрачныя произведенія Андреева болѣзненны, какъ болѣзненно и породившее ихъ время. Но если когда нибудь впоследствии историкъ захочетъ ярко освѣтить наше время, захочетъ изучить его не только въ причинной дѣли внѣшнихъ событій, но и во внутреннихъ переживаніяхъ живыхъ людей, то безъ помощи факела, который зажегъ Андреевъ, ему не удастся осуществить свое желаніе. При своемъ огромномъ талантѣ, Андреевъ остается вмѣстѣ съ тѣмъ единственнымъ пока художникомъ, отразившимъ наше время въ его большой мечтѣ („Къ звѣздамъ“, „Савва“) и въ его больномъ же разочарованіи („Такъ было“, „Иуда“, „Елеазаръ“, „Тьма“).

Какъ разъ на дняхъ только появилась удивительная исповѣдь, которая можетъ быть понята развѣ лишь при свѣтѣ Андреевскаго факела. Я говорю объ исповѣди публициста М. А. Энгельгарда („Свободн. Мысли“, № 35).

Свои публицистическіе концерты Энгельгардъ все время давалъ на эсъ-эровской скрипкѣ. При этомъ, нажимомъ пальцевъ, онъ до послѣднихъ предѣловъ укорачивалъ струны и извлекалъ изъ нихъ звуки такого высокаго напряженія, что каждый разъ становилось страшно и за музыканта, у котораго вотъ-вотъ лопнуть струны, и за слушателей, у которыхъ вотъ-вотъ лопнуть барабанныя перепонки.

Пѣсни Энгельгарда, главнымъ образомъ, сводились къ тому, что русскій мужикъ — социалистъ по своей природѣ и что не сегодня — завтра онъ, не смотря ни на что, оснуетъ волшебное царство социализма... Струны не выдержали и лопнули. И теперь, вмѣсто того, чтобы винить въ этомъ несчастія самого себя, Энгельгардъ, со свойственной ему рѣзкой грубостью, обрушивается на несчастный русскій народъ, не оправдавшій его ожиданій. Народъ нашъ — ругается публицистъ — вовсе не богатырь, а „фефела“, не Илья Муромецъ, а „только Поприщинъ, который вообразилъ себя Фердинандомъ VII, королемъ испанскимъ, и давай чертить“... „Мы думали,

передъ нами вулканъ, онъ оказался пузырь. Пнулъ его носкомъ господскій салогъ—и весь революціонный духъ изъ пузыря вонъ“...

И всю эту неистовую ругань Энгельгардъ выдаетъ теперь за „правду“, которую мы „мужественно“ должны изъ его рукъ принять.

И вѣдь, пожалуй, доля „правды“ въ этой исповѣди дѣйствительно есть.

За нами только что окончившійся короткій, но значительный періодъ русской исторіи, —періодъ головокружительно высокихъ подъемовъ и бездонныхъ проваловъ, періодъ мечтательныхъ иллюзій и мрачныхъ разочарований. Такова была жизнь. Андреевъ—ея художественное отображеніе. Энгельгардъ—кариатура на нее.

Наша революція была собственно конвульсивнымъ движеніемъ соціальнаго организма, изжившаго тѣ формы произвола и насилія, которыя государство культивировало въ затянувшійся у насъ періодъ капиталистическаго накопленія. Ничего новаго въ міровую сокровищницу идей мы не внесли и только почти повторила у себя, повторили болѣе страстно и болѣе болѣзненно, германскую революцію 1848 г. Повидимому, и наша литература по-революціоннаго періода собирается повторить исторію нѣмецкой литературы 50-хъ и 60-хъ гг. прошлаго столѣтія.

Эти два десятилѣтія, по свидѣтельству Рихарда Мейера, были отмѣнены полной безцвѣтностью нѣмецкой художественной литературы. Національный творческій геній какъ бы изсякъ на время въ этой области. Правда, и въ этомъ періодѣ появилось въ Германіи много новыхъ талантовъ, но они шли проторенными раньше путями и не создали ничего новаго, ничего оригинальнаго. И то, чего не доставало художникамъ,—даръ наблюдательности и критики, въ сочетаніи съ творческой силой воображенія—переходить теперь въ распоряженіе научной мысли и дѣятельности. Здѣсь появляются теперь такія крупныя (epochmachende) фигуры, какъ Момсенъ и Буркгардтъ, и произведенія такого значенія, какое имѣли труды Геттнера, Грегоровіуса и Куно Фишера¹⁾.

Было бы смѣшно, конечно, гадать теперь о появленіи у насъ собственныхъ Момсеновъ и Куно Фишеровъ. Но говорить о пробужденіи у насъ серьезнаго интереса къ гуманитарному знанію уже можно. Одинъ только прошлый годъ выдвинулъ цѣлый рядъ серьезныхъ работъ въ этой области. Назовемъ, наприѣръ, обширныя, широко задуманныя: „Исторію Россіи въ XIX вѣкѣ“ въ изданіи Граната и „Исторію русской литературы“ подъ редакціей Авичкова, Вороздина и Овсянико-Куликовскаго. Назовемъ отдѣльныя изданія историко-литературныхъ изслѣдованій того же Овсянико-Куликовскаго, Венгерова, Н. А. Котляревскаго, Гершензона, Иванова-Ра-

¹⁾ Dr. Richard M. Meyer. „Die deutsche Litteratur des XIX Jahrhunderts“. Berlin. 1900 г. См. стр. 509 и слѣд.

зумника. И надобно замѣтить, что труды эти не только издаются, но и хорошо расходятся,—предложеніе пошло на встрѣчу уже существующему и осознанному спросу.

Заговоривъ о пробужденномъ и обострившемся интересѣ къ гуманитарнымъ знаніямъ, нельзя обойти молчаніемъ и такого характернаго въ этой области симптома, какимъ является учрежденіе въ Петербургѣ кружка имени А. И. Герцена.

Симптоматическое значеніе этого кружка даже, такъ сказать, раздвояется въ моихъ глазахъ. Я вижу въ немъ симптомъ—воспользуюсь медицинской терминологіей—не только объективнаго, но и субъективнаго значенія: не только симптомъ *интереса*, но и симптомъ *настроенія*. Иначе говоря, мнѣ сильно сдается, что въ научные интересы кружка въ значительной долѣ привходятъ жгучіе элементы злободневности.

Рядомъ съ кружкомъ имени Герцена я представляю себѣ такіе же кружки имени Пушкина; имени Бѣлинскаго, котораго, кстати сказать, Тургеневъ совершенно справедливо считалъ „центральной фигурой“; имени Чернышевскаго... Ихъ нѣтъ, этихъ кружковъ, но они могли бы быть, они могутъ быть. Но дѣло въ томъ, что такіе кружки едва-ли способны были въ данный моментъ создать вокругъ себя ту атмосферу нравственнаго притяженія, какую создалъ кружокъ имени Герцена, при самомъ своемъ возникновеніи втянувшій въ себя самыхъ разнообразныхъ представителей политической мысли. Любвиная память къ благородному „рыцарю истины“,—какъ самъ себя называлъ Герценъ—разбила партійныя узы и объединила ищущихъ въ одномъ тѣсномъ кружкѣ.

Въ рѣчи, произнесенной въ кружкѣ 9-го января (напечатана въ № 8 „Рѣчи“), П. В. Струве сдѣлалъ интересную попытку выявить и формулировать то основное, чѣмъ Герценъ „милъ намъ, дорогъ, великъ и вѣченъ“. Струве полагаетъ, что ему удалось найти „одно слово, которымъ можно, правда блѣдно и бѣдно, сказать, чѣмъ же былъ Герценъ. Это слово: *свобода*“.

„Герценъ—говорилъ Струве—былъ воплощеніемъ свободы, какъ вѣчной стихіи человѣческаго духа. Онъ всегда боролся, всегда сомнѣвался, всегда искалъ—и въ этой борьбѣ съ другими и съ собой, въ этихъ исканіяхъ всегда былъ свободенъ.“

„Это—человѣческій типъ, которому ничто человѣческое не чуждо, все понятно, но который самъ неспособенъ быть однимъ—деспотомъ. Герценъ понималъ даже деспотизмъ,—вспомните, какъ говорилъ онъ о Петрѣ Великомъ. Но деспотизмъ былъ для него внутренне чуждой стихіей. Вотъ почему у Герцена было такое отталкиваніе отъ тончайшей, наиболѣе духовной формы деспотизма, отъ догматизма. Такіе люди способны на всякую страсть,

кроме самой жестокой—догматической. Такие люди иногда умирают на баррикадах, но они никогда не призывают других на баррикады и не тащат их на эшафот“.

„Один из национальных героев духа, Герцен не принадлежит к какой-либо партии и какому-либо направлению. Не готовые решения и утвержденные рецепты, а дух свободы и культуры и сияние красоты обретаем мы в его творениях.“

Речь Струве, не чуждая злободневных намеков даже в приведенных здесь небольших извлечениях из нея, заканчивается прямым обращением к современности:

„Русские люди—из всех человеческих стихий—с наибольшей страстью искали свободы и всего полнее извлекли и испили деспотизма. Не только в смысле политическом, но и в смысле духовном. Самый последний перегиб нашей истории, тот, от которого мы теперь отходим в еще более утомительном затишье, измотал нас всяческим деспотизмом. Здоровый инстинкт толкает нас искать возрождения в свободе. В такое время теснейшее духовное общение с Герценом и его творениями будет обращением к подлинному источнику воды живой.“

Можно любить Герцена. Я не знаю даже, можно ли не любить его. Можно считать его великим и вечным, потому что величием неумирающего духа вбьет со страниц его правдивой исповеди,—его книги,—развертывающихся потрясающую трагедию мятежной, ищущей мысли. И все же не в его творениях надо искать „подлинного источника воды живой“.

Вьлинский сравнивает где-то свое поколение с израильтянами, блуждающими по степи в тщетных поисках обетованной земли. Герцена можно было бы назвать Моисеем этого поколения; Иисусом Навином во всяком случае он не был.

Искусно построенная характеристика Герцена в речи Струве грешит, мне кажется, одним весьма существенным недостатком: оратор дал слово „свобода“ слишком широкое, слишком распространительное толкование. Невольно вспомнился старинный анекдот о „свободном“ извозчике, которого какие то шалуны заставляли кричать „ура“ в честь свободы.

В самом деле. В освещении Струве свобода Герцена приобретает удивительно красивую видимость. Можно подумать, что это был какой то особенно приятный дар, которым боги осчастливили Герцена и которому мы, простые смертные, пренебреженные небожителями, можем только завидовать.

Но в действительности было совсем не то. Идеализируемая Струве свобода в действительности была для Герцена не даром, а проклятием,—сплошной драмой его жизни. И напрасно Струве противопоставляет Герцена Достоевскому, который „искал Бога и боролся с ним“,—

но всегда с чуждой Герцену догматической страстью обрести окончательное, последнее, покоряющее, освобождающее от исканий решение“. Искания Герцена лежали не в той плоскости, где искал Достоевский, но то, что Струве называет „догматической страстью“, не могло быть чуждо Герцену.

Догмат есть конечная цель всякого искания. И о „догматической страсти“ Герцена можно судить по тем мнявшимся догматам, которые—по его же собственным признаниям—служили маяками на его трудном, извилистом пути. Да, этот, по Струве, далекий от догматизма человек, страстно жаждал „последнего и окончательного“ догмата. Ему не удалось обрести таковой, но не он ли, начав с догмата Запада, в который уввервал, „как христиане верят в рай“, кончил догматом русского мессианизма?

„Враг мистицизма и абсолютизма, ты—писал Герцену Тургенев:—мистически преклоняешься перед русским тулузом и в нем то видишь великую благодать и новизну и оригинальность будущих общественных форм—das Absolute—одним словом—то самое Absolute, над которым ты так смеешься в философии. Все твои идолы разбиты, а без идола жить нельзя,—так давай воздвигать алтарь этому новому невѣдомому богу, благо о нем почти ничего не известно—и опять можно молиться, и верить, и ждать“...

Итак, рай—на меньшем не мирился Герцен—вот его догмат, его абсолютъ. Сначала рай в далекой, неизвестной Европе, в конце—рай опять—таки в далекой и неизвестной России. Это были два полюса, две снеговые вершины, у подножья которых лежала скорбная долина разочарования. С одной из этих вершин, подобно грозной всеразрушающей лавине, скатилась мысль Герцена для того, чтобы потом изнемог в тщетных усилиях преодолеть другую.

И здесь-то, в долине, стесненной двумя колоссальными горными кряжами, Струве увидел и радостно приветствовал „свободного“ Герцена.

И разве, в самом деле, не здесь получил Герцен ту свободу, которую так славить Струве?

Когда-то, познакомившись с ранними произведениями Герцена, Вьлинский воскликнул: „У него страшно много ума, так много, что я не знаю, зачем его столько одному человеку!“ И вот теперь этот ум, слишком большой ум для одного человека, пылкий, глубокий и отважный ум, вдруг, силою той страшной стихии, которая зовется историей, оказался выбитым из завоеванных было позиций и низвергнутым в пропасть. Казалось, что страстная мечта жизни, наконец, близка к воплощению, что один только шаг остается до сверкающей вершины... и вдруг вместо лучезарного царства свободы—тѣ же отточенные солдатские штыки, только теперь направляемые рукою нового властелина; вместо социализма—пошла бухгалтерия буржуазной конторы“.

Западъ горько обманулъ революціонныя иллюзіи Герцена, и добровольный изгнанникъ почувствовалъ себя въ чужомъ для него мірѣ безъ дороги, безъ выхода.

„Безъ выхода“. Вѣдь это какъ разъ то положеніе, въ какомъ объявилъ себя Энгельгардъ. „Совсѣмъ, какъ Герценъ“—можетъ онъ сказать про себя. Совсѣмъ, да не очень. Герценъ не посыпалъ пепломъ свою главу, не выходилъ въ рубищѣ нищаго на большую дорогу для слезливаго покоянія. Онъ съ гордостью побѣжденнаго, но не сдавагося сказалъ про себя: „признать, что никакого выхода нѣтъ,—тоже выходъ“. Вотъ гдѣ сказалась дѣйствительно мужественная и свободная мысль Герцена. Но такая свобода покупается черезъ-чуръ дорогою цѣною.

Въ 1851 г. Герцена постигло тяжелое горе: въ морѣ погбли его мать и младшій сынъ. Мнѣ это событіе представлялось всегда полнымъ символическаго значенія. Потому что не является ли вся жизнь Герцена непрерывнымъ рядомъ подобныхъ крушеній, жестоко разбивавшихъ наиболѣе дорогія ему иллюзіи?

Со свойственнымъ его разсказу трепетаніемъ глубокой правды пережитаго подводитъ онъ въ „Западныхъ Арабескахъ“ печальные итоги:

„Камня на камнѣ не осталось отъ прежней жизни. Я уже не жду ничего; ничто, послѣ видѣннаго и испытаннаго мной, не удивитъ и не обрадуетъ глубоко; удивленіе и радость обузданы воспоминаніями былого, страхомъ будущаго. Почти все стало мнѣ безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себѣ конецъ придетъ такъ же случайно и безмысленно, какъ начало. А вѣдь я нашелъ все, чего искалъ, даже признаніе со стороны стараго себядовольнаго міра—да рядомъ съ этимъ утрату всѣхъ вѣрованій, всѣхъ благъ“.

Послѣ этой трогательной исповѣди перечитайте вновь тѣ строки дневника, гдѣ молодой, жизнерадостный Герценъ провозглашаетъ, что „цѣль жизни—жизнь“; что въ „полнотѣ наслажденія“ каждой минутой, каждымъ увлеченіемъ—счастье. Съ юношескимъ задоромъ вооружается онъ здѣсь противъ всякихъ „фантомовъ“, мѣшающихъ „полнотѣ наслажденія“ проходящей минутой, и призываетъ къ сліянію съ общей жизнью.

И въ результатѣ—неудавшаяся, разбитая жизнь. Въмѣсто сліянія съ общей жизнью—одиночество, а на склонѣ дней—даже брошенность. И основною причиною этого безпримѣрнаго крушенія цѣлой программы—лживый „фантомъ“.

Собственно говоря, сліяніе съ общей жизнью—это была задача, вообще непосильная для Герцена во всѣ періоды его жизни.

Русскій баринъ, щедро надѣленный природою острымъ, испытующимъ умомъ, онъ слишкомъ пристально разглядывалъ приближающихся къ нему людей, чтобы не замѣчать ихъ индивидуальныхъ недостатковъ. Безпощадный къ самому себѣ, онъ не имѣлъ основаній щадить и другихъ. И какъ

это ни странно, одной изъ основныхъ причинъ его добровольной эмиграціи послужило то обстоятельство, что ему стали „противны“ въ Москвѣ „даже люди выше обыкновенныхъ“. А вѣдь только съ такими, такъ сказать, высшаго сорта людьми, Герценъ и находился въ общеніи въ это время. Но они ему надоѣли теперь, и недостатки ихъ нервируютъ его: „этотъ суетный, сорокалѣтній парень Хомяковъ, просмѣявшійся цѣлую жизнь и ловившій нелѣпый призракъ русско-византійской церкви“, Аксаковъ, „безумный о Москвѣ“, даже „благородный и чистый“ Чаадаевъ кажется ему теперь приниженнымъ „тяжелой атмосферой сѣвера“ до уровня „ничтожной жизни маленькихъ преній“ и пустыхъ ненужныхъ словъ. „Чѣмъ больше, чѣмъ внимательнѣе всматриваешься въ лучшихъ, благороднѣйшихъ людей,—писалъ тогда въ дневникѣ Герценъ,—тѣмъ яснѣ видишь, что это неестественное распадѣніе съ жизнью ведетъ къ идіосинкразіямъ, ко всякимъ субъективнымъ блазнямъ“.

За-границу Герцену посчастливилось попастьъ въ моментъ, какъ нельзя болѣе благоприятный для осуществленія поставленной имъ себѣ задачи—сліянія съ общей жизнью. Но здѣсь-то и произошло крушеніе его завѣтнѣйшей мечты.

Правда, онъ не сторонился событій. Онъ принималъ въ нихъ живое и дѣятельное участіе, но это участіе оставалось почти исключительно теоретическимъ. Правда, онъ вошелъ здѣсь въ общеніе съ выдающимися общественными и литературными дѣятелями чуть ли не всѣхъ европейскихъ народностей и государствъ. Его замѣчательныя характеристики многихъ изъ нихъ хранятъ объ этомъ яркое воспоминаніе. Но, поглощенный непрерывающейся внутренней работой, онъ не останавливается, не удерживаетъ ихъ, и они—по скорбно-ироническому замѣчанію его жены—проходятъ мимо, разнообразныя, какъ „арлекины“, мелькающіе, какъ „китайскія тѣни“. Не самъ онъ собираетъ вокругъ себя этихъ людей,—событія пропускали ихъ мимо Герцена. И когда вызвавшія ихъ событія закончились, вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось и мельканіе „китайскихъ тѣней“ вокругъ Герцена.

Но если общеніе съ выдающимися людьми Европы могло по крайней мѣрѣ создать иллюзію сліянія съ общей жизнью, то отношеніе Герцена къ европейскимъ массамъ окончательно уничтожало эту иллюзію. Вѣдь онѣ, эти массы, превратили чудный „рай“ Герцена въ базаръ, въ мелочную лавку. И за это лично ему, Герцену, оскорбленіе онъ заклеилъ эти массы, заклеилъ всю буржуазную культуру Запада хлесткимъ, ядовитымъ словечкомъ: „мѣщанство“. Это была месть титана: всю силу своей разрушительной критики, все богатство своего неподражаемаго стиля, весь свой смертоносный сарказмъ, все пустилъ въ ходъ Герценъ, чтобы заглушить боль причиненной ему обиды. И дѣйствительно, странницы, посвященныя

имъ западно-европейскому „мѣщанству“, поражаютъ беззавѣтной страстью наносимыхъ ударовъ. Это даже не бичь, а скорпионы сатиры.

Нельзя однако не отмѣтить удивительной судьбы этой сатиры. Она имѣла и, какъ я сейчасъ покажу, имѣетъ колоссальнѣйшій успѣхъ у насъ, у которыхъ собственно для скорпионовъ Герцена нѣтъ достаточнаго примѣненія. А между тѣмъ въ Западной Европѣ, для которой скорпионы эти исключительно и предназначались, сатира не произвела эффекта. Пусть кто нибудь другой освѣтитъ этимъ вопросомъ съ точки зрѣнія толстокожести европейскаго мѣщанина, а я пока укажу на основную ошибку сатиры.

Энергія, вложенная Герценомъ въ сатиру, не поддается измѣренію. Ударъ сатиры могъ бы быть смертоноснымъ, если бы онъ былъ направленъ въ какую нибудь опредѣленную точку. Но русскій варваръ, которому „исторія ничего не завѣщала“, не рассчиталъ своихъ силъ и размахнулся черезъ чуръ широко. Нацѣлившись въ европейскую буржуазію, онъ широкимъ русскимъ размахомъ ударилъ по всему культурному человѣчеству, и, конечно, человѣчество даже не узнало о томъ, что кто-то собирается его зашибить.

Вотъ, наприимѣръ, нѣсколько строкъ изъ одной такой сатиры:

„Всѣ партіи и отгѣнки мало-по-малу раздѣлились въ мірѣ мѣщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мѣщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой — немущіе мѣщане, которые хотятъ вырвать изъ рукъ ихъ достояніе, но не имѣютъ силы, т. е. съ одной стороны скупость, съ другой — зависть. Такъ какъ дѣйствительно нравственнаго начала во всемъ этомъ нѣтъ, то и мѣсто лица въ той или другой сторонѣ опредѣляется вѣшними условіями состоянія — общественнаго положенія“.

Итакъ, стало быть, имущіе и немущіе, собственники и пролетаріи, всѣ они мѣщане; ихъ характеръ противенъ, тѣсенъ для искусства; ихъ нивелирующая посредственность стираетъ личность, губитъ все индивидуальное.

Гдѣ же, однако, не — мѣщане? Увы, ихъ нѣтъ совсѣмъ на бѣломъ свѣтѣ. Они могли бы, пожалуй, отыскаться въ европейскомъ „раю“ Герцена, но, за упраздненіемъ рая, они насильственно прекратили свое существованіе.

Чувствую что, заговоривъ объ исторической личности Герцена, я начинаю трактовать эту неприкосновенную для злободневности фигуру въ злободневномъ тонѣ. Быть можетъ, читатель замѣтилъ эту мою непростительную оплошность раньше меня. Жалѣю, что онъ не могъ во время остановитъ меня. Теперь же я могу сказать только одно: виновенъ, но заслуживаю снисхожденія. И право свое на снисхожденіе я основываю на томъ, что современная литература, опередивъ Струве, самостоятельно обрати-

лась къ Герцену, какъ къ „подлинному источнику воды живой“, и черпаетъ изъ этого источника наиболѣе замутившіяся его струи.

Вотъ предо мной лежатъ два солидныхъ тома (800 страницъ) „Исторіи русской общественной мысли“ Иванова-Разумника. Въ теченіе прошлаго года работа эта потребовала двухъ изданій, — она нашла широкую дорогу къ читателю. И дѣйствительно, нельзя не отнестись съ почтеніемъ къ огромному труду, вложенному авторомъ въ эту книгу. Нельзя не оцѣнить того серьезнаго вниманія, съ какимъ подходитъ Ивановъ-Разумникъ къ каждому изъ разсматриваемыхъ имъ авторовъ. И тѣмъ не менѣе, нельзя не отнестись съ полнымъ отрицаніемъ къ этой работѣ, цѣликомъ построенной на расплывающемся положеніи Герцена объ анти-культурной миссіи мѣщанства.

Подзаголовокъ книги Иванова-Разумника точнѣе опредѣляетъ ея содержаніе: „Индивидуализмъ и мѣщанство въ русской литературѣ и жизни XIX в.“ Цѣль книги — выяснитъ взаимоотношеніе между литературой и средой.

Литература, по Иванову-Разумнику, — это органъ, въ которомъ выражаетъ себя интеллигенція, — „Евангеліе русской интеллигенціи“. Среда — это мѣщанство, а мѣщанство — „это узость, плоскость и безличность (курсивъ Иванова-Разумника), узость формы, плоскость содержанія и безличность духа“. Вся исторія нашей литературы представляется автору непрерывной борьбой интеллигенціи и мѣщанства — „это двѣ силы, дѣйствующія въ діаметрально противоположенныхъ направленіяхъ, двѣ непримиримо враждебныя силы: мѣщанство — это та среда, въ неустанной борьбѣ съ которой происходилъ процессъ развитія русской интеллигенціи. *Борьба съ мѣщанствомъ* — подчеркиваетъ авторъ — вотъ та точка зрѣнія, съ которой мы будемъ изучать содержаніе исторіи русской интеллигенціи, процессъ ея развитія (т. I, стр. 16)“.

Сатира Герцена легла въ основу научнаго историческаго изслѣдованія, — случай, мнѣ кажется, исключительный въ области научнаго мышленія.

Итакъ, мы имѣемъ дѣло съ двумя враждебными силами, — съ интеллигенціей и мѣщанствомъ. Мы встрѣчаемся съ ними на каждой страницѣ обширной работы Иванова-Разумника и вправѣ потребовать отъ него возможно точнаго ихъ опредѣленія. Въ только что приведенномъ здѣсь положеніи автора силы эти представлены намъ въ весьма загадочномъ, мистическомъ свѣтѣ. Мѣщанство узко, плоско, безлично. Пусть такъ. Но почему же и какими таинственными процессами это безличное мѣщанство съ такимъ упорнымъ постоянствомъ систематически выдѣляетъ изъ своей среды и на свою же голову непримиримыхъ враговъ себѣ? И мало того, что

выдѣляетъ,—вѣнчаетъ лаврами наиболѣе сильныхъ изъ нихъ, окружаетъ ихъ почетомъ, создаетъ славу?

Увы! Этотъ таинственный процессъ взаимодѣйствія среды и ея интеллигенціи остается скрытымъ въ изслѣдованіи Иванова-Разумника. Авторъ старательно обходитъ этотъ кардинальный вопросъ своей темы, и въ его представленіи мѣщанство и интеллигенція стоятъ особнякомъ, въ вѣковѣчной враждѣ другъ съ другомъ. Мѣщанство само по себѣ, интеллигенція сама по себѣ. Мѣщанство опредѣляется тѣмъ, что „интеллигенція не входитъ въ эту группу“, а интеллигенція тѣмъ, что „въ группу интеллигенціи не входятъ мѣщане“ (стр. 14). Общее же между ними то, что обѣ эти группы „преемственные, внѣклассовыя и внѣсословныя“. Далѣе мы узнаемъ, что „мѣщанство, въ противоположность интеллигенціи, должно (!) характеризоваться отсутствіемъ творчества, отсутствіемъ активности; новые идеалы, новыя формы, активное проведеніе ихъ—все это несвойственно мѣщанству“. Напротивъ, интеллигенція характеризуется „творчествомъ новыхъ формъ и активнымъ проведеніемъ ихъ въ жизнь въ направленіи (курсивъ въ обоихъ случаяхъ принадлежитъ Ив.-Разумнику) къ физическому и умственному, общественному и личному освобожденію личности“. Словомъ, творчество русской интеллигенціи состоитъ въ ея „борьбѣ за индивидуальность“.

Съ такими безформенными опредѣленіями основныхъ своихъ положеній приступилъ Ивановъ-Разумникъ къ научной исторической работѣ. Разумѣется, она не удалась ему. Въмѣсто „исторіи общественной мысли“ вышла сказка про бѣлаго бычка, съ безконечными повтореніями, не только не уясняющими, но все болѣе и болѣе запутывающими смутную мысль автора. Читатель помнитъ, конечно, что въ сказкѣ о бычкѣ все разнообразіе утомительнаго разсказа сводится къ перемѣнамъ окраски животнаго:—сначала рѣчь идетъ о бѣломъ бычкѣ, потомъ о черномъ, о рыжемъ. При достаточномъ терпѣніи разсказчика и слушателя, бычокъ въ дальнѣйшемъ теченіи повѣствованія окрашивается, наконецъ, въ цвѣта фантастическіе и во всякомъ случаѣ совершенно несвойственные скромному четвероногому. Точь въ точь такой же передѣлкѣ подвергаетъ Ивановъ-Разумникъ въ своей работѣ содержаніе „индивидуализма“, который, какъ признакъ, всюду сопутствуетъ у него русской интеллигенціи. Индивидуализмъ этическій, соціологическій, философскій, этико-соціологическій, эстетическій, метафизическій, религіозный, гносеологическій и т. д. и т. д. пестритъ на страницахъ „исторіи“ Иванова-Разумника, но отъ этого она не перестаетъ быть невразумительной, а главное, скучной.

На пространствѣ двухъ увѣсистыхъ томовъ Ивановъ-Разумникъ далъ только одну веселую страничку и ту онъ, должно быть, въ цѣляхъ эффектнаго заключенія своего изслѣдованія, приберегъ къ самому концу книги.

„Ортодоксальные русскіе марксисты—утверждаетъ Ивановъ-Разумникъ—

пророчать русской интеллигенціи быстрое увяданіе и вымирание. Интеллигенція, говорятъ они, должна испытать процессъ разложенія и смерти, будучи такимъ же застарѣлымъ пережиткомъ до-конституціоннаго строя, какъ и поземельная община: вѣдь на Западѣ теперь нѣтъ ни общины, ни „интеллигенціи“, въ ея русскомъ значеніи... Мы не стоимъ на такой точкѣ зрѣнія, такъ какъ не считаемъ сильнымъ аргументомъ старое, петрепанное положеніе: на Западѣ когда-то *было* то, что у насъ теперь *есть* а слѣдовательно у насъ когда-нибудь *будетъ* то, что есть теперь на Западѣ... По-истинѣ, удивительный силлогизмъ!.. Вотъ почему мы не придаемъ вѣса ихъ кассандровскимъ пророчествамъ о грядущей скорой гибели русской внѣсословной и внѣклассовой интеллигенціи; наоборотъ, мы предвидимъ дальнѣйшій ростъ и разцвѣтъ этой интеллигенціи, къ которой мы хотѣли бы имѣть право приложить знакомыя намъ слова: ея прошлое—изумительно, ея будущее—невообразимо“...

Вотъ вѣдь какимъ напоследокъ шутникомъ оказался Ивановъ-Разумникъ!—Мало ему показалось собственнаго „невообразимаго“ толкованія интеллигенціи, такъ онъ еще и русскому марксизму навязываетъ какую-то невообразимую чепуху и даже полемизируетъ съ ней.

Гдѣ и когда „ортодоксальные русскіе марксисты“ пророчили русской интеллигенціи „быстрое увяданіе и умирание“? Гдѣ и когда сопоставляли они судьбу интеллигенціи съ судьбами русской общины? Гдѣ и когда строили они тѣ „по-истинѣ, удивительные силлогизмы“, которые имъ приписываетъ Ивановъ-Разумникъ?

Нисгдѣ и никогда—долженъ будетъ отвѣтить намъ самъ авторъ этой игривой выходки. Вѣдь онъ, такъ добросовѣстно-точно цитирующій чужія слова, старательно сопровождающій каждую взятую имъ цитату ссылкой на соответствующаго автора и даже на страницу, здѣсь въ интерпретаціи марксистской позиціи, даже не намекнулъ о томъ, отъ кого онъ могъ слышать весь этотъ вздоръ.

Конечно, это была невинная шутка автора. Я увѣренъ въ этомъ тѣмъ болѣе, что марксистская точка зрѣнія на этотъ сложный для Иванова-Разумника вопросъ очень проста и легко усвояема. Надобно только признать, что русская интеллигенція—не ананасъ, а остальное дастся затѣмъ само собою. Въ самомъ дѣлѣ, разъ только допустить, что интеллигенція—не ананасъ, что ее не привозятъ къ намъ изъ заморскихъ странъ, то затѣмъ уже придется признать ее замороженнымъ продуктомъ данной соціальной среды. Въ средѣ, мало дифференцированной, интеллигенція представляется болѣе или менѣе однороднымъ, компактнымъ цѣлымъ. По мѣрѣ дифференціаціи среды дифференцируются и ея интеллектуальныя силы, ея интеллигенція. Не о гибели, нѣтъ,—о ростѣ интеллигенціи, въ связи съ культурной эволюціей человѣчества, могутъ говорить

марксисты, но, разумеется, „интеллигенція“ въ ихъ представленіи мало похожа на „невообразимый“ ананасъ Иванова-Разумника.

Отъ тяжеловѣснаго историческаго изслѣдованія Иванова-Разумника, которое читается съ трудомъ, требуя частыхъ и продолжительныхъ отдыховъ, я непосредственно перейду къ критическимъ очеркамъ К. Чуковского: „Отъ Чехова до нашихъ дней“. Живо написанная книжка Чуковского, въ противоположность изслѣдованію Иванова Разумника, читается чрезвычайно легко: я лично потратилъ на ея прочтеніе ровно часъ времени. И все-таки между обоими этими авторами чувствуется несомнѣнная связь.

Чуковский—Никодимъ Иванова-Разумника, тайный ученикъ его. Тайный,—потому что, воспринявъ отъ Иванова-Разумника, а черезъ него, слѣдовательно, и отъ Герцена, смутныя представленія о мѣщанствѣ, объ интеллигенціи и индивидуализмѣ, Чуковский почему-то стыдится открыто признать своихъ учителей. Такъ, имя Иванова-Разумника ни разу не названо въ книгѣ. О Герценѣ онъ вспоминаетъ какъ-то мимоходомъ, вскользь, притомъ совсѣмъ не тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Тамъ же, гдѣ слѣдуетъ, Чуковский почему-то прячетъ Герцена.

Въ первой же статьѣ сборника („А. Чеховъ“) Чуковский говоритъ о перемѣщеніи центра тяжести русской исторіи въ города. „Одно изъ первыхъ дѣлъ города заключалась въ томъ—носятся авторъ,—что господинъ превратился въ хозяина, въ городского собственника, въ мѣщанина. Съ его приходомъ дворянская, помѣщичья, „рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, гордость—обидчивостью, изящные нравы—правами чинными, вѣжливость—чопорностью, парки—огородами, дворцы—гостиницами, открытыми для всѣхъ, т. е. для всѣхъ имѣющихъ деньги“.

Чуковский, по какимъ-то, одному ему извѣстнымъ соображеніямъ, умолчалъ о томъ, что все, отмѣченное имъ кавычками, и кое-что, не отмѣченное имъ этимъ знакомъ, принадлежитъ Герцену и относится къ феодальному рыцарству З. Европы.

А вѣдь иной наивный читатель подумаетъ, что авторъ цитируетъ собственные свои раннія произведенія; подумаетъ и удивится: о какомъ-то русскомъ рыцарствѣ, котораго у насъ никогда не было, трактуешь Чуковский?

Ученикъ Иванова-Разумника, Чуковский не просто копируетъ учителя, но, проявляя значительную долю самостоятельности, кое въ чемъ дополняетъ и даже, по своему, исправляетъ учителя. Такъ, къ 1001 видамъ индивидуализма Иванова-Разумника онъ прибавляетъ два-три собственныхъ, новыхъ,—напримѣръ, мѣщанствующій индивидуализмъ, ложный индивидуализмъ. Исправляя учителя, Чуковский утверждаетъ, что въ нашей

послѣ-чеховской литературѣ утвердилась „мѣщанственность“, и что эта самая мѣщанственность,—здѣсь Чуковский высказывается совсѣмъ на-перекорь учителю—пользуется индивидуализмомъ, какъ наиболее „присущей русскому мѣщанству формой“. Впрочемъ, пятью строками ниже Чуковский, какъ бы испугавшись такой явной ереси, беретъ свои слова назадъ и обвиняетъ послѣ-чеховскую литературу въ „полнѣйшемъ забвеніи“ индивидуализма (стр. 10 и 11).

Само собою разумеется, что подобнаго свойства дополненія и поправки къ исторической системѣ Иванова-Разумника не только не помогли его талантливому ученику, но, напротивъ, окончательно смутили и запутали его. Смущенностью Чуковского только и можно объяснить, такой, напримѣръ, казусъ, что на небольшомъ пространствѣ своей книжечки критикъ не одинъ разъ высказываетъ положенія, взаимно другъ друга исключая.

Примѣры:

На стр. 70-й Чуковский рѣзко обрушивается на М. Горькаго за обнаруженное этимъ писателемъ, по мнѣнію критика, „неуваженіе къ личности“. Горькій—возмущается критикъ—„придавилъ свою личность, съузилъ ее, обкарналъ—и не только свою, но и личность всѣхъ тѣхъ, кого онъ вывелъ въ своихъ писаніяхъ, отнимая у тѣхъ конкретныя черты“. Горькій „высказываетъ полнѣйшее равнодушіе къ человѣку конкретному, къ неповторяемой живой личности“.

На стр. 121-й тотъ же критикъ, во имя страстной любви своей къ живой личности и къ русской литературѣ, обрушивается, опять же за „неуваженіе къ личности“, на Бориса Зайцева. Но на этомъ разъ, въ противовѣсъ и въ поученіе молодому художнику, онъ выдвигаетъ М. Горькаго, который, по глубокому убѣжденію критика, „во главу угла полагаетъ личность, конкретную, вотъ эту, съ такими-то глазами, съ такими-то мыслями“.

Съ такою же рѣшительною категоричностью и съ такою же легкомысленною небрежностью говоритъ Чуковский объ индивидуализмѣ Горькаго. Вместе съ Арцыбашевымъ, Каменскимъ, Юшкевичемъ, Кузминымъ и другими, М. Горькій сопричисленъ критикомъ къ представителямъ „ложнаго индивидуализма“. Въ предисловіи Горькій объявленъ „мѣщаниномъ съ головы до ногъ“. Но, если вы дойдете до страницы 126-й книги, вы увидите тамъ Горькаго уже въ роли представителя „этического индивидуализма“. А между тѣмъ, по „системѣ“ Чуковского, „ложный индивидуализмъ“ отличается отъ „этического“ какими-то весьма и весьма существенными признаками. Ибо онъ душевно скорбитъ о „кризисѣ этического индивидуализма“ и мечетъ громы искреннѣйшаго негодованія по адресу „ложнаго индивидуализма“.

Я почти не сомнѣваюсь въ томъ, что, если написанныя выше строки

когда-нибудь попадутся на глаза Чуковскому, то онъ покраснѣетъ отъ стыда... не за себя, конечно, не за свои критическіе промахи, а за меня, за мой педантизмъ.

— „Эка невидаль—противорѣчія!—скажетъ онъ, вѣроятно:—таково ужь свойство нашихъ капризныхъ впечатлѣній. А вѣдь впечатлѣніями, только впечатлѣніями долженъ быть занятъ современный критикъ. Когда я началъ писать о Горькомъ, на дворѣ стояла отвратительная погода, у меня былъ насморкъ (объ этомъ даже въ „Календарѣ писателя“ было пропечатано), вотъ и получалось впечатлѣніе о Горькомъ, какъ о ненавистникѣ живого, конкретнаго человѣка. Черезъ три дня небо прояснилось, я поправился и даже получилъ въ редакціи авансъ, и все это не могло не настроить меня на болѣе миролюбивый ладъ. Ничего удивительнаго въ этой смѣнѣ настроеній нѣтъ, и только какой-нибудь журнальный педантъ можетъ не оцѣнить моего живого отношенія къ дѣлу.“

Да, Чуковский—критикъ „новой школы“. Въмѣстѣ со своими „молодыми“ товарищами онъ любитъ противопоставлять приемы новыхъ критиковъ „отжившей и увядающей старой критикѣ“ или, по ихъ терминологіи, „критикѣ толстыхъ журналовъ“: ей—„время тлѣть“, а имъ—„цвѣсти“. Ихъ интересуетъ не произведеніе художника, а ихъ собственное мимо-летное впечатлѣніе, которое сейчасъ же, послѣ минутнаго раздумья, можетъ радикальнѣйшимъ образомъ измѣниться; имъ часто нѣтъ никакого дѣла до дѣйствительнаго, живого облика писателя,—ихъ больше занимаютъ тѣ, бульварнаго парижскаго стиля, *vies imaginaires*, въ которыхъ серьезное изученіе писателя замѣняется необузданнымъ разгуломъ фантазій критика.

Почти на дняхъ только, на почвѣ такого пониманія критики, завязался на страницахъ столичной прессы любопытный споръ. Одинъ изъ „новыхъ“ критиковъ, Максимиліанъ Волошинъ, начерталъ въ „Руси“ довольно-таки удивительный портретъ Валерія Брюсова. Вышло такъ, что поэтъ родился и выросъ у дверей публичнаго дома, и что это обстоятельство разъ и навсегда опредѣлило отношеніе поэта къ женщинамъ, какъ къ проституткѣ. Въ проституціи Брюсовъ не можетъ мыслить женщину ни въ современности, ни даже въ прошломъ и будущемъ.

Брюсовъ сдѣлалъ было попытку указать на непристойность подобной „критики“, но встрѣтилъ со стороны Волошина энергичный и стойкій отпоръ: современной критикѣ не обязанъ-де копаться въ біографіи и въ произведеніяхъ писателей; за глаза достаточно съ нихъ и того, что критикъ, даетъ себѣ трудъ сочинить ихъ *vies imaginaires*.

И, вѣдь, замѣтьте, что Максимиліанъ Волошинъ сочинилъ этотъ занимательный некрологъ Брюсова отъ избытка самыхъ благородныхъ чувствъ, потому что онъ—поклонникъ поэта. А вотъ Чуковский подошелъ съ теми же приемами критики къ Горькому съ другими побужденіями, и по-

этому имъ написанная *vie imaginaire* Горькаго (стр. 65 и др.) производитъ еще болѣе тяжелое впечатлѣніе.

Изъ писателей, подвергнутыхъ оцѣнкѣ въ книгѣ Чуковскаго, я оставился главнымъ образомъ на Горькомъ съ предвзятымъ намѣреніемъ. Одна огромная полоса въ художественной дѣятельности Горькаго можетъ считаться вполне законченной. И казалось что критикъ, хотя бы даже и самой новѣйшей школы, могъ успѣть составить себѣ болѣе или менѣе опредѣленный взглядъ на пройденный уже писателемъ путь, въ зависимости отъ капризовъ петербургской погоды. Чуковский этого сдѣлать не успѣлъ. И теперь, демонстрировавъ безпомощность критика въ его одной оцѣнкѣ, я чувствую себя вправѣ, не приводя дальнѣйшихъ доказательствъ, коротко, въ двухъ словахъ, высказать свое мнѣніе о всей книгѣ Чуковскаго:—она феноменальна по количеству собраннаго въ ней легкомыслія.

Мелькаютъ имена, мелькаютъ остроты, среди которыхъ не мало удачныхъ, мелькаютъ коротенькія, стривочныя мысли, изъ которыхъ многія обнаруживаютъ порою недюжинную наблюдательность автора, но все это—и имена, и остроты, и мысли—какъ-то плохо цѣпляются другъ за друга. Нѣтъ связи, а въ замѣчаніяхъ автора, даже въ наиболѣе цѣнныхъ изъ нихъ, чувствуется, что они скользятъ по гладкой поверхности, не имѣя силы пробить ее и проникнуть въ глубину вопроса.

Лучше другихъ удались Чуковскому литературные портреты Бальмонта и Дымова. Характеристику этого послѣдняго писателя нельзя не назвать даже блестящей, такъ что Чуковский, впрямь до завоеванія иныхъ литературныхъ лавровъ, смѣло могъ бы претендовать на всеобщее признаніе за нимъ почетнаго титула:—„критикъ Дымова“.

Вл. Кранихфельдъ.